



## Г. И. ЗАМАРАЕВ

### Памяти К. Н. Леонтьева

С покойным «философом-поэтом» Константином Николаевичем Леонтьевым мы переписывались долго и часто и еще чаще беседовали. К сожалению, у меня уцелело весьма немного писем этого оригинального писателя. Константин Николаевич очень любил молодежь, стараясь привить ей свои идеи. Он говорил прекрасно, образно, интересно. Все мы, имевшие счастье быть близко знакомыми с Константином Николаевичем, значительную долю нашего мировоззрения обязаны ему. Он иногда называл себя «пророком», указывая этим на свою новую проповедь и вместе на то, что он не был ни понят, ни оценен по достоинству в любимом им отечестве. Впрочем, Константин Николаевич мог быть по справедливости назван пророком и в смысле предсказателя. По крайней мере, все писанное им о славянах Балканского полуострова подтвердилось впоследствии до мельчайших подробностей. Можно положительно сказать, что *в то время* только единственный человек сочувствовал Константину Николаевичу и вполне разделял его мнение о славянах Балканского полуострова — это Т. И. Филиппов, который своею солидною книгой «Современные церковные вопросы» (1882) неотразимыми, вескими фактами доказал всю неправоту болгар в их споре с греками и все лицемерие и двоедушие их.

Чаще всего К. Н. Леонтьев выказывал свою проницательность, доходящую до предвидения, в своих беседах в тесном кружке своих немногих друзей, а иногда даже и в действиях, как это было при столкновении в Константинополе со знаменитым Лёсепсом<sup>1</sup>. За много лет до Панамского скандала К. Н. рассказывал нам, как он выбрал и чуть ли, кажется, не замахнулся хлыстом (хорошо не могу припомнить) на эту в свое время знаменитость за то, что тот выразил сожаление о неразвитости русского «мужика». На Лёсепса К. Н. Леонтьев любил указывать как на

тип европейского «хамства». Хуже, обиднее этого слова для Константина Николаевича ничего не было. Как носитель истинной культуры и как тонкий эстетик, он во всем умеренно посредственным, во всем типично пошловатом, во всем мещански-приличном видел хамство. Слово это он употреблял очень часто в культурном смысле даже с людьми, которые могли не знать, какой смысл придает он этому слову.

Обращается, например, раз за объяснением к К. Н-чу его сослуживец из «интеллигентов» духовного происхождения с брюшком и в модном дешевеньком пиджаке с вопросом:

— Что же такое, по-вашему, хамство?

Константин Николаевич старается объяснить ему в общих чертах, что значит в его представлении хамство: тот недоумевает. Наконец, не удержавшись от напрашивающегося сравнения, Константин Николаевич восклицает:

— Ах, Господи, как это Вы не хотите понять? Ну, вот вы, например, хам, потому что на вас не ряса и даже не кафтан, не поддевка, а европейский некрасивый кургузый пиджак... Разве вас, например, художник захочет перенести на полотно? А какого-нибудь старого боярина, черногорца, грека в феске перенесет, и будет красиво...

— Вот еще врага себе нажил, — говорил потом Константин Николаевич, — своего сослуживца NN хамом обозвал, — и при этом рассказал, как было дело.

Особенно хорошо запечатлелся в моей памяти следующий случай предвидения К. Н. Леонтьева. Зашел я как-то к нему довольно поздно вечером. В это время он обыкновенно никого не принимал, кроме самых близких друзей. Он очень обрадовался моему приходу, но казался очень взволнованным и озабоченным. Возле него стояли «дети души»<sup>2</sup> его, Варя и Александр. Но о них после.

— Ах, как хорошо Вы сделали, милый друг, что сами пришли ко мне! Я уж хотел было посылать за вами.

— В чем дело? — удивился я.

— Да вот возьмите, читайте... письмо от нашего Ванечки...<sup>3</sup> сейчас только получил... пишет, что желает быть священником, что ему не до нашей идеи, а что забота его — спасение своей души... Не понимаю и уж никак от него этого не ожидал: «душу спасти»?!.. да разве священник не может служить *нашему делу*?

Пусть бы тогда шел в монахи... там аскетизм, отречение от мира, от своей воли, а тут?.. Вы подумайте только: Ванечка, человек образованный, кончил курс в университете, кончит скоро и в академии, дворянин, со средствами, и вот вы представьте

себе *такого* священника или, может быть, архиерея в облачении, поучающего народ на молебне при открытии какой-нибудь железной дороги. «Помолимся, мол, братья, о путешествующих, чтобы им не погибнуть, но не будем особенно радоваться появлению у нас чугунных дорог, как и всякому вообще утилитарному прогрессу, а рассмотрим лучше, сколько вреда приносят нам все эти дороги». Разве это не была бы такая именно проповедь пастыря к своей пастве, какая теперь нужна? Наш Дениска-профессор<sup>4</sup> стал бы говорить в том же духе с кафедры... А то что же это такое за идеал? Поп в каком-нибудь Кишиневе, спасающий свою душу? Ну, и шел бы давно в монахи, а то давайте ему диплом университета, академии... Нет, это измена с его стороны; я так и думаю отвечать ему, а вы как полагаете, прав я буду или нет?

По всему было видно, что письмо нашего общего любимого друга сильно подействовало на Константина Николаевича; но я догадывался, почему еще он так волнуется и ищет в другом человеке временного оправдания своему настроению.

Ванечка затронул ту именно черту между переходящим, земным, и неизвестным, вечным будущим, над которой К. Н. Леонтьев сам часто задумывался. В моменты такого раздумья он скептически смотрел на всех и на вся, на свою плоть и на свои заботы о благе России, находя успокоение своему порывистому уму и сердцу в вере и надежде на тот неведомый мир, «идѣже нѣсть болѣзнь, ни въздыханіе». Но этот мистицизм, проходивший непрерывною нитью через всю жизнь Константина Николаевича, хотя и выражался иногда во всей своей православно-христианской силе и простоте, однако не убивал в нем ни энергии духа, ни ясности ума, ни восприимчивости сердца. Достаточно было малейшего импульса, чтобы К. Н. из мистического кратковременного квиетизма быстро перешел к активной живой деятельности во имя будущности России.

Вот почему он искал теперь выхода из того затруднения, в которое был поставлен Ванечка. С мистической стороны Ванечка представлялся ему правым, но вместе с тем К. Н-чу до боли было жаль и досадно, что все надежды его на Ванечку казались погибшими...

Я чувствовал, что Ванечка писал под влиянием минутного настроения, и даже знал, чем могло быть вызвано в нем *такое* настроение, а потому я не только успокоил Константина Николаевича, но и сказал еще, что наш милый друг будет самым усердным проповедником нашей идеи. Но ни опасениям Константина Николаевича, ни моим предположениям не суждено было сбыться: Ванечка скончался в молодых годах, едва успев окончить курс в духовной академии...

После моих утешений Константин Николаевич успокоился и даже повеселел и приказал подать чаю и коньяку, который обыкновенно подавался у него как прикладная к чаю роскошь в минуты особенно хорошие. Разговор наш по обыкновению перешел на Герцена, на Данилевского (Николая Яковлевича), на гр. Л. Толстого, на Тургенева и т. д.

Прошло после этого несколько месяцев — не помню, сколько именно, но не более двух или трех, — заходит ко мне однажды с книжкой в руках тоже уже покойный теперь Петр Евгеньевич Астафьев<sup>5</sup>.

— А, батюшка, нате-ка прочтите, — говорит он мне, передавая книжку журнала «Православное обозрение»<sup>6</sup>, — вы только вникните хорошенько, *что* сказано и *как* сказано преосвященным Никанором<sup>7</sup> при освящении нового железнодорожного вокзала в Одессе. Ведь это, батюшка, бесподобно: и научно, и доказательно, и сжато так, что ни капли риторики...

Я прочел поучение с глубочайшим интересом и тут же не мог не припомнить нашей беседы с К. Н. Леонтьевым, мастерски нарисовавшим мне ту самую картину и ту обстановку, при которой наш Ванечка должен был бы говорить именно то, что так прекрасно сказано было преосвященным Никанором.

Когда я напомнил об этом Константину Николаевичу, то он ответил мне замечательно просто: «Ну: вот видите? а я так и позабыл совсем об этом; но от души порадовался поучению преосвященного... А вы, мои милые друзья, все зеваете и зеваете», — прибавил он с оттенком искренней грусти.

Константин Николаевич некоторое время аккуратно посещал по «пятницам» П. Е. Астафьева, у которого в эти дни собиралось довольно много народа. Бывали тут и профессора, и художники, и артисты, и толпа молодежи. Появлялся иногда и знаменитый философ-богослов Владимир Соловьев. Эти вечера у Петра Евгеньевича, особенно первое время, были очень оживленны и разнообразны. После самых отвлеченных дебатов о сверхъестественном мы наслаждались часто артистическим чтением, художественным пением или классической музыкой, потом ужинали и всегда засиживались далеко за полночь. Иногда на наши вечера допускались дамы, большею частью подруги падчерицы Петра Евгеньевича, и тогда устраивались танцы.

Во время различных философских прений мы, молодежь, конечно, больше молчали и слушали, но иногда позволяли себе с полною свободой «свое суждение иметь» и даже *возражать*. Меня за мои возражения Петр Евгеньевич в шутку называл «еретиком», он в споре ужасно горячился; увлекался и я до того, что мы в конце концов переставали слушать и понимать друг друга.

— Вы, батюшка, не прочли еще Лейбница и Канта, потому так и судите. Вот я завтра принесу Вам кое-что и заставлю Вас прочесть.

— И читать не буду, Петр Евгеньевич, не собьете вы меня.

— А вот увидите, батюшка.

— Я и так хорошо вижу, что вся ваша философия — огромнейшая дыра, в которую все стреляют без промаха: и метафизики, и позитивисты, и пессимисты и проч. и проч.

Константин Николаевич Леонтьев на этих вечерах либо читал что-нибудь по рукописи, приготовленной им к печати, либо рассказывал. Мы слушали его оригинальную речь с большим удовольствием, но не дай Бог, если его прерывал своим возражением Петр Евгеньевич. Начинался нескончаемый горячий спор, пока наконец слабый здоровьем и очень нервный Константин Николаевич не заявлял, что больше спорить он с Петром Евгеньевичем не может, потому что и голосу для этого не хватает, и для здоровья вредно, и слух раздражается.

У него было сильно развитое эстетическое чувство. Когда он, например, слушал пение, то весьма редко глядел на поющего: для этого нужно было иметь певцу особенно счастливую, изящную наружность, которая бы не портила впечатления. Константин Николаевич не любил также, когда кто-нибудь услужливо подавал ему зажженную спичку, чтобы закурить папироску: из опасения увидеть не совсем чистые ногти он всегда спешил взять спичку в свои пальцы.

Впоследствии Константин Николаевич совсем перестал бывать на «пятницах» у Петра Евгеньевича, которому он прямо и откровенно признался, что не может вести с ним споров, что это просто не по его силам и не по его здоровью. «Пятницы» П. Е. Астафьева продолжались, но отсутствие на них Константина Николаевича для всех нас было очень заметно. Нужно сказать, что П. Е. Астафьев в то время переживал очень тяжелые минуты и терпел большую нужду от недостатка средств, однако тянулся изо всех сил, чтобы не отменять своих вечеров, которые устраивались им исключительно ради молодежи. Он отлично сознавал, какую неопределимую пользу приносили нам эти «пятницы», стоившие ему с чаями, закусками и ужинами сравнительно дорого. Да, кто хотел, тот мог черпать здесь духовную пищу непосредственно из живого источника, а не из учебников наших почтенных глубокомысленных профессоров, заставлявших нас отбывать повинность «зубристики». То огромное воспитательное значение, которое имели для нас «Астафьевские пятницы», не может быть ясно выражено словами — да едва ли кому-нибудь это и инте-

ресно, — но каждый из нас не может не питать чувства глубочайшей признательности за все, что он приобрел здесь для своего я, для своих убеждений, для всего своего мировоззрения.

Маленький раскол, который произошел между К. Н. Леонтьевым и П. Е. Астафьевым, отчасти повлиял и на нас. Все мы продолжали по-прежнему бывать у Петра Евгеньевича, но возле Константина Николаевича образовался из нас же маленький, очень тесный кружок «избранных», потому что вообще Константин Николаевич был очень строг и требователен в выборе друзей.

В его квартире, когда он жил в Москве, в Денежном переулке, всегда господствовал образцовый порядок и безукоризненная чистота. В *главной* комнате, где обыкновенно велись наши беседы, мебели было немного. Впереди стоял диван и перед ним стол с парой старинных кресел; по задней стене шли полки с книгами; по лицевой (уличной) стороне стояли стулья, цветы; в углу, возле этажерки с рукописями, стояла лампа на деревянном винтообразном постаменте. В эту лампу наливалось какое-то (не помню названия) особенное, без запаха горючее вещество, стоившее гораздо дороже керосина; но Константин Николаевич позволял себе эту роскошь, потому что, как он говорил, «от керосина и пахнет неприятно и копоть пачкает мебель и руки».

Вообще квартира его отличалась характером строгой устойчивости, доходящей до той своеобразной опрятной чистоты, какую можно встретить иногда в келье хорошего настоятеля богатого монастыря.

Жена Константина Николаевича, крымская гречанка, была в свое время красавицей, но вследствие какой-то неизлечимой женской болезни впала в тихое наивно-детское умопомешательство, что причиняло немало забот Константину Николаевичу.

— Впрочем, — говорил Константин Николаевич, — Лиза меня не особенно беспокоит. Она уходит в свою комнату, когда видит, что я занят, играет там на гитаре, а я затворяю двери и пишу как ни в чем не бывало.

Одно время мы хлопотали было о помещении ее в одно из лучших в Москве заведений для неизлечимо больных. Дело это поручено было мне и начало было уже приближаться к благоприятному исходу, как совершенно неожиданно, после всех моих хлопот, Константин Николаевич решительно объявляет мне:

— А ведь я раздумал, мой добрый друг, отдавать Лизу. Чувствую, что не могу с нею расстаться и что мне без нее скучно будет...

Привычка! ничего не поделаешь.

Семейное его одиночество восполнялось отчасти «детьми души». Это были крестьянская девушка из бывшего калужского

имения Константина Николаевича Варя и молодой парень Александр из подмосковной деревни Мазилово. Они следили за хозяйством, ухаживали за Константином Николаевичем, как за своим отцом, когда он бывал болен, что случалось нередко. Он их одевал чисто по-русски, учил, читал им лучших классических писателей и любил их, как родных детей. Потом эти дети души его поженились. Я был шафером у Вари, и наш тесный кружок пировал на свадьбе в Мазилове, где жил старик-отец Александра. Наш свадебный «кортеж» и пир произвели большую «сенсацию» в среде мазиловских мужиков и баб.

Константин Николаевич постоянно жаловался на недостаток получаемого им содержания по должности цензора<sup>8</sup>, хотя, кроме того, ему хорошо платили редакции за его литературные труды; но он был так добр, что, вероятно, у него не хватало бы средств и тогда, если бы он получал вдвое или втрое больше.

Я застал у него как-то мальчугана лет 15, в огромнейших смазных сапогах, с растрепанными и выгоревшими от солнца волосами.

— Вот, позвольте представить Вам: «Ломоносов» из Тульской губернии, — сказал мне Константин Николаевич, — пришел сегодня пешком в Москву, принес вот эту рукопись собственного сочинения, бродил целый день по разным учреждениям, чуть ли не начиная с казенной палаты, чтобы показать свое сочинение и посоветоваться. По счастью, случайно наткнулся на М-го, который послал его ко мне. Я заглянул в рукопись, но, признаться, читать некогда было, да и ничего особенного не заметил. Не прочтете ли Вы, а завтра скажете мне Ваше мнение?

Я, конечно, охотно согласился, тем более что «Ломоносов» меня очень заинтересовал и мне от души хотелось в его жиденькой рукописи найти нечто такое, что говорило бы в его пользу. Мне хотелось тогда поговорить с 15-летним деревенским писателем, но было довольно уже поздно, и наш «писатель» откровенно заявил, что он устал и хочет спать, а что до постоянного двора, который указал ему какой-то «дяденька», далеко, да и к ужину опоздаешь.

Константин Николаевич полюбопытствовал, есть у «писателя» деньги и хватит ли ему на ночлеги в Москве, на еду и на обратный путь. «Писатель» заявил, что у него деньги есть — 7 коп.: «хватит на все». Конечно, «Ломоносова» на постоянный двор не пустили, а приказано было немедленно его накормить и отвести ему ночлег.

Сочинение его оказалось совсем слабым. Это был небольшой и неинтересный рассказец из деревенского быта. Ни в сюжете,

ни в изложении не проглядывало ни оригинальности, ни даже намека на малейшее дарование. «Ломоносову» пришлось отправляться обратно в Тульскую губернию, но уже не пешком, а по железной дороге на деньги, данные ему Константином Николаевичем.

Я намеренно не распространяюсь о содержании наших бесед о политике, о культуре народов и о будущности и значении России, чтобы не пренебрегать ради *общего*, имевшего влияние на наше умственное развитие, теми мелочами, которые обыкновенно скоро забываются, но которые, несомненно, яснее характеризуют личность человека, чем все произведения его творческого духа. Скажу только мимоходом, что себя и нас, т. е. свою «школу», Константин Николаевич называл иногда «анатолистами», иногда «гептастилистами», указывая последним названием на те главные семь положений, на которых должна, по его мнению, основываться и развиваться славяно-русская культура.

